



Анна
Турусова

Справка «ММ»

Анна Турусова родилась 31 октября 1936 года в семье известного перво-строителя Магнитки А. Г. Бутяева. В 1960-м окончила Магнитогорский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка, литературы, немецкого языка» и осталась работать на кафедре иностранных языков. Со студенческой скамьи увлеклась писательством, была членом литературного объединения, руководимого писателем Николаем Вороновым. Именно он посоветовал ей перейти на работу, связанную с литературным творчеством.

В 1963 году она поступила на только что организованную городскую телестудию, где работала до 1970 года и прошла путь от корреспондента до заместителя директора.

Первый рассказ Анны Турусовой был опубликован в «Магнитогорском рабочем» в 1957 году. Потом рассказы публиковались в журналах «Уральский следопыт», «Южный Урал», «Каменный пояс», «Уральская новь». В сборнике «Монолог-81» вышли её литературные переводы с татарского языка.

Первая книга «Под стук колёс» вышла в 1989 году, вторая – «Пятерка за «фонарь» в 1996-м. В 1997 году её приняли в члены Союза писателей России. Анна Турусова – лауреат литературной премии имени Константина Нефедьева, соискательница Национальной детской литературной премии «Заветная мечта», награждена медалью имени Антона Чехова, учредённой Союзом писателей Москвы. В 2007 году в серии «Литература Магнитки. Избранное», издаваемой под патронажем газеты «Магнитогорский металл», вышла книга «Четыре чекиста и поводок для собаки».

Рассказ

Анна Турусова

После войны мы около шести лет жили в бараке, в шумном рабочем посёлке, который приютился рядом с крановым заводом. У нас были две просторные комнаты, – не столько просторные, как я теперь понимаю, сколько пустые. В них стояли три койки с пыльными перинами, доставшимися от бабушки, толстоногий стол, пять табуреток и одежный шкаф с замысловатым резным кокошником. Всё, кроме, разумеется, коек, сколотил наш отец, работавший плотником на стройке. Доски он строгал возле стайки, где держали сначала козу, а потом корову, собирав же – подгонял, зачищал шкуркой, травил марганцовкой, покрывал лаком – уже дома, и не только комнаты, но и весь барачный коридор надолго пропитывался запахом красок.

А ещё у нас стоял ларь, около двух метров в длину. Он занимал одну стену целиком и служил кому-то из нас кроватью. Ларь был выше табуреток, и мы на нём сидели, удобно свесив ноги или болтая ими под столом, что всегда сердило и выводило маму из себя. Одноклассники – мои и брата – иногда спрашивали, что у нас там. Мы гордо и таинственно, должно быть, повторяя отца, отвечали:

– Энзэ.

В ларе хранилась пшеница. Где, когда и как раздобыл её отец, никто из нас не помнил. Скорее всего, кто-то расплатился зерном за работу. Зато прочно осело в памяти, что нам не полагалось проявлять интерес к энзэ: там, утопив глубоко в зерне, мать приберегала к праздникам кулёчки с леденцами, дешёвой карамелью или с орехами, которые присыпала изредка из деревни бабушка.

Каждую весну – по веснам было особенно голодно – соседка тётя Шура говорила матери:

– Да свезите вы зерно на мельзавод, накормите детей досыта. И меня на блины хоть раз позовёте. Что вы гноите его?

Мать испуганно шарахалась от беспечной советчицы. Пролитывая в войну немало слёз над нами, голодными, она и слышать не могла о мельнице без сматывания.

Хлеб в магазинах шёл по карточкам. Мы, слава богу, ни разу их не потеряли и не проворонили расторопным карманным воришкам, что частенько случалось с другими в послевоенных очередях. Но хлеба нам всегда было мало. И потом ещё, когда отменили карточки, мы не раз сидели проголодь: то хлеба привозили меньше, то некогда было стоять в очереди, которую занимали с пяти-шести часов утра. Впрямь



Арина Петрова

с петель и унесли в подвал. Мать покрасила ларь тёмно-зелёной масляной краской, накрыла старым стеганым одеялом, бросила на него небольшую расшитую подушку и зимой спала на кухне: квартира оказалась угловой, холодной, и единственным теплым местом в морозы была кухня.

С годами мы привыкли к ларю, как к стенам, порогу, окнам в квартире. Он прочно стоял на своём месте, и его не двигали даже тогда, когда обновляли побелку. Очереди давно слышались в магазинах, мать по праздникам баловала нас блинами и пирогами, а ларь всё стоял: то ли родителям было с ним спокойнее, то ли не знали, как поступить с зерном, то ли просто руки не доходили. Мы о том не спрашивали, у нас, детей, и права голоса не было, когда речь заходила об энзэ. Только я однажды, ударившись в очередной раз при уборке об угол, жёстко бросила:

– Мы когда-нибудь избавимся от этого ящика? Тоже мне ещё памятник войне...

Мать недобро глянула на меня: – Это же хлеб!.. Что же его – выбрасывать? С ним по-людски надо.

– По-людски его давно полагалось съесть.

Мать рассердилась и много-много дней не разговаривала со мной. Только позднее я поняла, что обидел её не мой дерзкий тон, а то, что я назвала правду, которая, видимо, не раз уже обжигала и её, и отца. Позднее же, вспоминая брошенный матери укор, я часто думала, какого же горя и голода она хлебнула с нами в войну, если столько лет жила, не веря в завтрашний хлебный стол.

Воскресным вечером всей семьёй мы возвращались с садового участка, который выделили отцу и где мы обычно копались всё лето. Усталые, грязные, поднялись на свой этаж, всерьёз споря о том, кто первым полезет в ванну. Открыли дверь, перешагнули порог и попали в лужу. По всему полу растекалась вода. Ничего не понимая, кинулись к кранам.

Но затопило нас сверху. С кухонного потолка капало, как в бане. Пахло мокрой пылью и отсыревшей известью. Намокшее одеяло тяжело свисало с ларя, подушка стала совсем плоской.

Отец помчался бить тревогу. Я тоскливо думала о предстоящем ремонте. А квартира была побелена по старой традиции к Пасхе, всего месяц назад.

Ларь

Когда я слышу слово «ларь», я ставлю рядом слово «голод»

купить не удавалось, продолжала существовать норма – две булки на руки. Белый хлеб семья отдавала отцу. Он вернулся с войны с разрушенным здоровьем и подолгу лежал в больнице. Но и тогда – ни мать, ни отец даже глазом не повели в сторону энзэ. Ларь оставался неприкосновенным.

Проходили не месяцы – годы. Соседка уже не советовала, а откровенно посмеивалась:

– Скоро, Григорыч, новую квартиру получишь. Ты в передовиках, тебе раньше всех дадут. Так мужики говорят.

– Пусти уши в люди, всего наслушаешься. То, что говорят, Шура, проверять надо, – уходил от ответа отец. – Говорим мы много, да не всё выходит по-говороному.

– Будет заливать-то. Все знают, что ты в списке первым остался. Куда ларь денешь? Неужто с собой повезёшь? Подари нам на память. Война уже кончилась, а вы всё с ним мыкаетесь.

– Хорошая ты баба, Шура, – отец неспешно клал ногу на ногу, обхватывая колени руками и, раскачиваясь на табурете, обдумывал, как бы помягче сказать то, что вертелось на языке. Потом с деликатнейшей улыбкой произносил: – Да уж больно ты думать не любишь. Война, конечно, кончилась. И не скоро будет. Не заштопались ещё. У всех дырки, не только у русских. А вот неурожай или что другое может случиться. А запасов-то в стране нету. Нет запасов, Шура, всё съели. Куда я тогда с оравой? Четверо их у меня.

Ты же не отдашь свой кусок – свои есть просят. Вот и выходит, коротко ты думаешь...

Квартиру мы получили в новой части города. В холодный февральский полдень наш толстенный шкаф с резным кокошником важно проехал на грузовике по людным улицам. Мы прятались за ним от пронзительного ветра, счастливые от ожидания, под завистливые взгляды, которыми провожали нас бывшие – теперь уже бывшие – соседи. Под боком стояли мешки с пшеницей: ларь ехал разобранным на доски.

Вещи сгрузили прямо в снег у подъезда, машину отпустили. Пока два крепких парня из отцовской бригады носили нашу нехитрую мебель на третий этаж, я стояла внизу и подавала малышам мелкие вещи. Какие-то любопытные старухи пристроились рядом и беззастенчиво разглядывали наш скарб. Одна даже ткнула пухлым пальцем в мешок и, как мне показалось, не без осуждения воркнула:

– Справный, видать, мужик, даром, что четверо детей. Четверо что ли вас?

– Четверо, – нехотя ответила я.

– Зажиточный, видать, – вздохнула она ещё раз, снова ткнула в мешок, теперь уже носком подшитого валенка, и, так и не угадав, что же там, в мешке, ушла в другой подъезд.

Место ларю с зерном мать с отцом определили на кухне. Он занял всю стену от двери до окна. Дверь стала мешать, её попросту сняли

Мать между тем стянула на пол одеяло и подушку, откинула крышку ларя и утопила обе пятерни в зерне. Запахло затхлым. Из вознившихся воронок шёл легкий парок. Не вынимая рук из пшеницы, мать обессиленно опустилась на мокрый пол и заплакала. Мы стояли над ней и вчетвером твердили, что всё к лучшему, что отец, оказывается, уже обещал зерно кому-то, что его можно, наконец, высушить и на балконе. Чем больше мы утешали, тем мельче подрагивали её плечи. Мать плакала горько и скорбно, как над покойником, положив голову на зелёный борт ларя. Коса её сползла с затылка и висела над зерном, и кончик кисточкой выглядывал из-под запястья. Коса у мамы была тёмной-тёмной, а на висках уже просвечивала седина, и на неё с потолка продолжали падать крупные капли воды.

Пшеницу мы высушили и продали за бесценок знакомым, жившим в индивидуальном доме. Хозяин подогнал к подъезду старенькую «Победу», погрузил зерно и попросил меня поехать с ним и придержать мешки на сиденье.

Хозяйка суетилась на подворье. Из первого же мешка она черпнула ржавой тарелкой и высыпала зерно посреди двора. Десятка три кур тут же слетелись на праздник, словно дети к новогоднему мешку Деда Мороза. Петух горделиво расхаживал по кругу, похлопывая крыльями, горделивый и довольный, будто это он принёс неожиданный подарок и созвал всех на застолье.

Я сначала весело поглядывала на куриный пир и улыбалась. Но чем дольше я смотрела на счастливую птичью возню, тем смурнее становилось на душе, тем понятнее были недавние слёзы матери. Конечно, не о самом зерне она плакала, а о том, что связывало с ним всю семью. О праздниках, не подаренных нам, о боли в сердце, когда соседка заводила разговор о мельнице, о чёрном послевоенном хлебе, замаской липнущем к ношу, о белых крошках, которые мы сметали в рот себе со стола, когда отец, поев, выходил из кухни. Об отце, который давился белым хлебом, когда мы ели чёрный. О себе, своей бестолковой бережливости, которой не было прощания.

Я сидела на крыльце и чувствовала, что тоже вот-вот заплачу, что какая-то из кур под моим взглядом вот-вот поперхнётся и подавится лишним зёрнышком.

Когда я с деньгами и сумкой свежих яиц впридачу вернулась домой, ларь уже был разобранный и вынесен в подвал. Сестра домывала освободившийся угол. Пол и стены там были другого цвета. Мать грустно и отстранённо смотрела на пустое пространство, и кухня обрастала её молчанием, как горьковатым дымом.

А на столе надёжно, бок о бок, стояли две свежие булки хлеба, только что принесённые из магазина.